

Александр Иванович Герцен

# Дилетантизм в науке



Александр Герцен  
**Дилетантизм в науке**

«Public Domain»

1843

## Герцен А. И.

Дилетантизм в науке / А. И. Герцен — «Public Domain»,  
1843

«Мы живем на рубеже двух миров – оттого особая тягость, затруднительность жизни для мыслящих людей. Старые убеждения, все прошедшее миросозерцание потрясены – но они дороги сердцу. Новые убеждения, многообъемлющие и великие, не успели еще принести плода; первые листья, почки пророчат могучие цветы, но этих цветов нет, и они чужды сердцу. Множество людей осталось без прошедших убеждений и без настоящих. Другие механически спутали долю того и другого и погрузились в печальные сумерки. Люди внешние предаются в таком случае ежедневной суете; люди созерцательные – страдают: во что б ни стало ищут примирения, потому что с внутренним раздором, без краеугольного камня нравственному бытию человек не может жить...»

## Содержание

Статья первая	5
Статья вторая	14
Конец ознакомительного фрагмента.	17

# Александр Иванович Герцен Дилетантизм в науке

## Статья первая

Мы живем на рубеже двух миров – оттого особая тягость, затруднительность жизни для мыслящих людей. Старые убеждения, все прошедшее мирозерцание потрясены – но они дороги сердцу. Новые убеждения, многообъемлющие и великие, не успели еще принести плода; первые листы, почки пророчат могучие цветы, но этих цветов нет, и они чужды сердцу. Множество людей осталось без прошедших убеждений и без настоящих. Другие механически спутали долю того и другого и погрузились в печальные сумерки. Люди внешние предаются в таком случае ежедневной суете; люди созерцательные – страдают: во что бы ни стало ищут примирения, потому что с внутренним раздором, без краеугольного камня нравственному бытию человек не может жить. Между тем всеобщее примирение в сфере мышления провозгласилось миру наукой. И жаждавшие примирения раздвоились: *одни* не верят науке, не хотят ею заняться, не хотят обследовать, почему она так говорит, не хотят идти ее трудным путем; «наболевшие души наши, – говорят они, – требуют утешений, а наука на горячие, просьбы о хлебе подает камни, на вопль и стон растерзанного сердца, на его плач, молящий об участии, – предлагает холодный разум и общие формулы; в логической неприступности своей она равно не удовлетворяет ни практических людей, ни мистиков. Она намеренно говорит языком неудобопонятным, чтоб за лесом схоластики скрыть сухость основных мыслей – *elle n'a pas d'entrailles*<sup>1</sup>». *Другие*, совсем напротив, нашли внешнее примирение и ответ всему каким-то незаконным процессом, усвоивая себе букву науки и не касаясь до живого духа ее. Они до того поверхностны, что им кажется все ужасно легким, на всякий вопрос они знают разрешение; когда слушаешь их, то кажется, что науке больше ничего не осталось делать. У них свой алькоран, они верят в него и цитируют места, как последнее доказательство. Эти мухаммедане в науке чрезвычайно вредят ее успехам. Генрих IV говаривал: «Лишь бы провидение меня защитило от друзей, а с врагами я сам справлюсь»; такие друзья науки, смешиваемые с самой наукой, оправдывают ненависть врагов ее, – и наука остается в малом числе избранных.

Но хотя бы она была в одном человеке, она – факт, великое событие не в возможности, а в действительности; отрицать событие нельзя. Такого рода факты никогда не совершаются не в свое время; время для науки настало, она достигла до истинного понятия своего; духу человеческому искусившемуся на всех ступенях лестницы самопознания, начала раскрываться истина в стройном наукообразном организме и притом в живом организме. За будущность науки нечего бояться. Но жаль поколения, которое, имея, если не совершенное освещение дня, то, наверное, утреннюю зарю, – страдает во тьме или тешится пустяками, оттого что стоит спиною к востоку. За что изъяты стремящиеся от блага обоих миров: прошедшего, умершего, вызываемого ими иногда, но являющегося в саване, и настоящего, для них не родившегося?

Массами философия теперь принята быть не может. Философия *как наука* предполагает известную степень развития самомышления, без которого нельзя подняться в ее сферу. Массам вовсе недоступны бестелесные умозрения; ими принимается имеющее плоть. А для того, чтоб перейти во всеобщее сознание, потеряв свой искусственный язык, и сделаться достоянием площади и семьи, живоначальным источником действия и воззрения всех

---

<sup>1</sup> у нее нет души (франц.).

и каждого, – она слишком юна, она не могла еще иметь такого развития в жизни, ей много дела дома, в сфере абстрактной; кроме философов-мухаммедан, никто не думает, что в науке все совершенно, несмотря ни на выработанность формы, ни на полноту развертывающегося в ней содержания, ни на диалектическую методу, ясную и прозрачную для самой себя. Но если массам недоступна наука, то до них не дошли и страдания душевного состояния пустоты и натянутого беснующегося пиетизма. Массы не вне истины; они знают ее божественным откровением. В несчастном и безотрадном положении находятся люди, попавшие в промежуток между *естественною* простотою масс и *разумной* простотою науки.

На первый случай да будет позволено нам не разрушать на некоторое время спокойствия и квиетизма, в котором почивают формалисты, и заняться исключительно врагами современной науки, – их мы понимаем под общим именем дилетантов и романтиков. Формалисты не страдают, а эти больны – им жить тошно.

Врагов собственно наука в Европе не имеет, разве за исключением каких-нибудь каст, доживающих в бессмыслии свой век, да и те так нелепы, что с ними никто не говорит. Дилетанты вообще тоже друзья науки, *nos amis les ennemis*<sup>2</sup>, как говорит Беранже, но неприятели современному состоянию ее. Все они чувствуют потребность пофилософствовать, но пофилософствовать между прочим, легко и приятно, в известных границах; сюда принадлежат нежные мечтательные души, оскорбленные положительностью нашего века; они, жаждавшие везде осуществления своих милых, но несбыточных фантазий, не находят их и в науке, отворачиваются от нее и, сосредоточенные в тесных сферах личных упований и надежд, бесплодно выдыхаются в какую-то туманную даль. И, с другой стороны, сюда принадлежат истые поклонники позитивизма, потерявшие дух за подробностями и упорно остающиеся при рассудочных теориях и аналитических трупоразъятиях. Наконец, толпа этого направления составляется из людей, вышедших из детского возраста и вообразивших, что наука легка (в их смысле), что стоит захотеть знать – и узнаешь, а между тем наука им не далась, за это они и рассердились на нее; они не вынесли с собою ни укрепленных дарований, ни постоянного труда, ни желания чем бы то ни было пожертвовать для истины. Они попробовали плод древа познания и грустно поведали о кислоте и гнилости его, похожие на тех добрых людей, которые со слезами рассказывают о пороках друга – и им верят добрые люди, потому что они друзья.

Возле дилетантов доживают свой век романтики, запоздалые представители прошедшего, глубоко скорбящие об умершем мире, который им казался вечным; они не хотят с новым иметь дела иначе как с копьем в руке: верные преданию средних веков, они похожи на Дон-Кихота и скорбят о глубоком падении людей, завернувшись в одежды печали и сетования. Они, впрочем, готовы признать науку, но для этого требуют, чтобы наука признала за абсолютное, что Дульцинея Тобозская – первая красавица. Пришло время, в которое должно без увлечения и предрассудков смотреть на людей; начинается совершеннолетие, и потому не одно сладкое должно высказываться, но и горькое. Надобно для того начать речь против дилетантов науки, что они клеветают на нее, и для того, что их жаль; наконец, всего более необходимо говорить о них *у нас*.

Одно из существеннейших достоинств русского характера – чрезвычайная легкость принимать и усваивать себе плод чужого труда. И не только легко, но и ловко: в этом состоит одна из гуманнейших сторон нашего характера. Но это достоинство вместе с тем и значительный недостаток: мы редко имеем способность выдержанного, глубокого труда. Нам понравилось загребать жар чужими руками, нам показалось, что это в порядке вещей, чтоб Европа кровью и потом вырабатывала каждую истину и открытие: ей все мучения тяжелой беременности, трудных родов, изнурительного кормления грудью – а дитя нам. Мы прогля-

<sup>2</sup> наши друзья-враги (франц.).

дели, что ребенок будет у нас – приемыш, что органической связи между нами и им нет... Все шло хорошо. Но когда мы приблизились к современной науке, ее упорство должно было удивить нас. Эта наука везде дома – но только она нигде не дает жатвы, где не посеяна: она должна не только в каждом принимающем народе, но в каждой личности прозябнуть и возрасти. Нам хотелось бы взять результат, поймать его, как ловят мух, и, раскрывая руку, мы или обманываем себя, думая, что абсолютное тут, или с досадой видим, что рука пуста. Дело в том, что эта наука существует как наука, и тогда она имеет великий результат; а результат отдельно вовсе не существует: так голова живого человека кипит мыслями, пока шеей прикреплена к туловищу, а без него она – пустая форма. Все это должно было удивить и оскорбить наших дилетантов гораздо более, нежели иностранных, ибо у нас гораздо менее развито понятие науки и путей ее. Наши дилетанты с плачем засвидетельствовали, что они обманулись в коварной науке Запада, что ее результаты темны, сбивчивы, хотя и есть порядочные мысли, принадлежащие «такому-то и такому-то». Такие речи у нас вредны, потому что нет нелепости, обветшалости, которая не высказывалась бы нашими дилетантами с уверенностью, приводящею в изумление; а слушающие готовы верить оттого, что у нас не установились самые общие понятия о науке; есть предварительные истины, которые в Германии, например, вперед идут, а у нас нет. О них там уже никто не говорит, а у нас никто *еще* не говорил о них. На Западе война против современной науки представляет известные элементы духа народного, развившиеся веками и окрепнувшие в упрямой самобытности; им вспять идти не позволяют воспоминания: таковы, например, пиетисты в Германии, порожденные односторонностью протестантизма. Как ни жалко их положение – быть изъятыми из жизни современной, но нельзя отрицать в них особый характер упругости и последовательности, с которой они ведут отчаянный бой. Наши дилетанты, если и принимают эти чужеземные болезни, то, не имея предшествующих фактов, они дивят поверхностностью и неразумием. Им не стыдно отступить, потому что они еще не сделали ни одного шага вперед. Они были всегда праздношатающимися в сенях храма науки – у них нет своего дома. И если б они могли победить восточную лень и в самом деле обратить внимание на науку, они помирились бы с нею. Но тут-то и беда. Мы сердимся на науку в совершенных годах, так, как сердились на грамматику, будучи восьми лет. Трудность, темнота – главное обвинение; к нему присовокупляются, как к существенному, другие возражения: пиетистические, моральные, патриотические, сантиментальные. Гёте давным-давно сказал: «Когда толкуют о темноте книги, следует спросить, в книге ли темнота или в голове». Вообще ссылаться вечно на трудность – это что-то неблагопристойное, ленивое и не заслуживающее возражения<sup>3</sup>. Наука не достается без труда – правда; в науке нет другого способа приобретения, как в поте лица; ни порывы, ни фантазии, ни стремление всем сердцем не заменяют труда. Но трудиться не хотят, а утешаются мыслью, что современная наука есть разработка материалов, что надобно нечеловечьи усилия для того, чтоб понять ее, и что скоро упадет с неба или выйдет из-под земли другая, *легкая* наука.

«Трудность, непонятность!» А почему они знают это? Разве вне науки можно знать степень ее трудности? Разве наука не имеет формального начала, которое легко именно потому, что оно начало, какая-нибудь неразвитая всеобщность? С другой стороны, они правы, ссылаясь на непониманье, больше правы, нежели думают. Если мы вникнем, почему, при всем желании, стремлении к истине, многим наука не дается, то увидим, что существенная, главная, всеобщая причина одна: все они *не понимают* науки и не понимают, чего хотят от нее. Скажут: для кого же наука, если люди, ее любящие, стремящиеся к ней, не понимают ее? стало быть, она, как алхимия, существует только для адептов, имеющих ключ к ее иероглифическому языку? Нет; современная наука может быть понятна всякому, кто имеет живую

<sup>3</sup> У нас, пожалуй, есть и еще нелепее обвинение науки: зачем она употребляет *незнакомые слова*. – Кому незнакомые??.

душу, самоотвержение и подходит к ней *просто*. В том-то и дело, что все эти господа подходят к ней *замысловато*, с «задними мыслями», испытывая ее, делая ей требования и ничем не жертвуя для нее; и она для них остается – хотя бы они были мудры, как змеи, – бессмысленным формализмом, логическим *casse-tête*<sup>4</sup>, не заключающим в себе никакой сущности.

Отречение от личных убеждений значит признание истины; доколе моя личность соперничает с нею, она ее ограничивает, она ее гнет, выгибает, подчиняет себе, повинувшись одному своеволию. Сохраняющим личные убеждения дорога не *истина*, а то, что они *называют* истиной. Они любят не науку, а именно туманное, неопределенное стремление к ней, в котором раздолье им мечтать и льстить себе. Эти искатели премудрости, каждый по своей тропинке, так высоко оценили свой подвиг, так полюбили свою умную личность, что не могут поступиться ею. Было время, когда многое прощалось за одно стремление, за одну любовь к науке; это время миновало; нынче мало одной платонической любви: мы – реалисты; нам надобно, чтоб любовь становилась действием. А что заставляет так упорно держаться личных убеждений? – Эгоизм. Эгоизм ненавидит всеобщее, он отрывает человека от человечества, ставит его в исключительное положение; для него все чуждо, кроме своей личности. Он везде носит с собою свою злокачественную атмосферу, сквозь которую не проникнет светлый луч, не изуродовавшись. С эгоизмом об руку идет гордая надменность; книгу науки развертывают с дерзким легкомыслием. Уважение к истине – начало премудрости.

Положение философии в отношении к ее любownikам не лучше положения Пенелопы без Одиссея: ее никто не охраняет – ни формулы, ни фигуры, как математику, ни частоты, воздвигаемые специальными науками около своих огородов. Чрезвычайная всеобъемлемость философии дает ей вид доступности извне. Чем всеобъемлемее мысль и чем более она держится во всеобщности, тем легче она для поверхностного разумения, потому что частности содержания не развиты в ней и их не подозревают. Смотри с берега на зеркальную поверхность моря, можно дивиться робости пловцов; спокойствие волн заставляет забывать их глубину и жадность, – они кажутся хрусталем или льдом. Но пловец знает, можно ли положить на эту холодность и покой. В философии, как в море, нет ни льда, ни хрусталя: все движется, течет, живет, под каждой точкой одинакая глубина; в ней, как в горниле, расплавляется все твердое, окаменелое, попавшее в ее безначальный и бесконечный круговорот, и, как в море, поверхность гладка, спокойна, светла, беспредельна и отражает небо. Благодаря этому оптическому обману дилетанты подходят храбро, без страха истины, без уважения к преемственному труду человечества, работавшего около трех тысяч лет, чтоб дойти до настоящего развития. Не спрашивают дороги, скользят с пренебрежением по началу, полагая, что знают его, не спрашивают, что такое наука, что она должна дать, а требуют, чтоб она дала им то, что им вздумается спросить. Темное предчувствие говорит, что философия должна разрешить все, примирить, успокоить; в силу этого от нее требуют доказательств на свои убеждения, на всякие гипотезы, утешения в неудачах и бог весть, чего не требуют. Строгий, удаленный от пафоса и личностей характер науки поражает их; они удивлены, обмануты в ожиданиях, их заставляют трудиться там, где они искали отдыха, и трудиться в самом деле. Наука перестает им нравиться; они берут отдельные результаты, не имеющие никакого смысла в той форме, в которой они берут, привязывают их к позорному столбу и бичуют в них науку. Заметьте, каждый считает себя состоятельным судьей, потому что каждый уверен в своем уме и в превосходстве его над наукою, хотя бы он прочел одно введение. «Нет в мире человека, – говорит один великий мыслитель, – который бы думал, что можно, не учась башмачному мастерству, шить башмаки, хотя у каждого есть нога – мера башмаку. Философия не делит даже этого права». Личные убеждения – окончательное, безапелляционное судилище. А они откуда взяты? – От родителей, нянек, школы, от добрых и недобрых людей и от

<sup>4</sup> головоломкой (франц.).

своего сильного ума. «У всякого свой ум, – что за дело, как думают другие». Чтоб сказать это, когда речь идет не о пустых случайностях ежедневной жизни, а о науке, надобно быть или гением, или безумным. Гениев мало, а сентенция эта повторяется часто. Впрочем, хоть я понимаю возможность гения, предупреждающего ум современников (например, Коперник) таким образом, что истина с его стороны в противность общепринятому мнению, но я не знаю ни одного великого человека, который сказал бы, что у всех людей ум сам по себе, а у него сам по себе. Все дело философии и гражданственности – раскрыть во всех головах один ум. На единении умов зиждется все здание человечества; только в низших, мелких и чисто животных желаниях люди распадаются. При этом надобно заметить, что сентенции такого рода признаются только, когда речь идет о философии и эстетике. Объективное значение других наук, даже башмачного ремесла, давно признано. У всякого своя философия, свой вкус. Добрым людям в голову не приходит, что это значит самым положительным образом отрицать философию и эстетику. Ибо что же за существование их, если они зависят и меняются от всякого встречного и поперечного? Причина одна: предмет науки и искусства ни око не видит, ни зуб не жует. Дух – Протей; он для человека то, что человек понимает под ним и насколько понимает; совсем не понимает – его нет, но нет для *человека*, а не для человечества, не для себя. Юм, с наивностью *sui generis*<sup>5</sup>, своего века, говорит, читая какую-то гипотезу Бюффона: «Удивительно, я почти убежден в достоверности его слов, а он говорит о предметах, которых глаз *человеческий* не видит». Для Юма, следственно, дух существовал только в своем воплощении; критерий истины для него – нос, уши, глаза и рот. Мудрено ли после этого, что он отрицал каузальность (причинность)?

Другие науки гораздо счастливее философии: у них есть предмет, непроницаемый в пространстве и сущий во времени. В естествоведении, например, нельзя так играть, как в философии. Природа – царство видимого закона; она не дает себя насилловать; она представляет улики и возражения, которые отрицать невозможно: их глаз видит и ухо слышит. Занимающиеся безусловно покоряются, личность подавлена и является только в гипотезах, обыкновенно не идущих к делу. В этом отношении материалисты стоят выше и могут служить примером мечтателям – дилетантам: материалисты поняли дух в природе и только как природу – но перед объективностью ее, несмотря на то, что в ней нет истинного примирения склонились; оттого между ими являлись такие мощные люди, как Бюффон, Кювье, Лаплас и др. Какую теорию ни бросит, каким личным убеждением ни пожертвует химик – если опыт покажет другое, ему не придет в голову, что цинк ошибочно действует, что селитренная кислота – нелепость. А между тем опыт – беднейшее средство познания. Он покоряется физическому факту; фактам духа и разума никто не считает себя обязанным покоряться; не дают себе труда уразуметь их, не признают фактами. К философии приступают с своей маленькой философией; в этой маленькой, домашней, ручной философии удовлетворены все мечты, все прихоти эгоистического воображения. Как же не рассердиться, когда в философии-науке все эти мечты бледнеют перед разумным реализмом ее! Личность исчезает в царстве идеи, в то время как жажда насладиться, упиться себялюбием заставляет искать везде себя и себя как единичного, как этого. В науке дилетанты находят одно всеобщее – разум, мысль, по превосходству, всеобщее; наука перешагнула за индивидуальности, за случайные и временные личности; она далеко оставила их за собою, так что они незаметны из нее. В науке царство совершеннолетия и свободы; слабые люди, предчувствуя эту свободу, трепещут, они боятся ступить без пестуна, без внешнего веления; в науке некому оценить их подвига, похвалить, наградить; им кажется это ужасной пустотой, голова кружится, и они удаляются. Распадаясь с наукой, они начинают ссылаться на темное чувство свое, которое хоть и никогда не приходит в ясность, но не может ошибиться. Чувство индивидуально: я чувствую, другой нет – оба

<sup>5</sup> своеобразной (лат.).

правы; доказательств не нужно, да они и невозможны; если б была искра любви к истине в самом деле, разумеется, ее не решились бы провести под каудинские фурукулы чувств, фантазий и капризов. Не сердце, а разум – судья истины. А разуму кто судья? – Он сам. Это одна из непреодолимейших трудностей для дилетантов; оттого они, приступая к науке, и ищут вне науки аршина, на который мерить ее; сюда принадлежит известное нелепое правило: прежде, нежели начать мыслить, исследовать орудия мышления каким-то внешним анализом.

При первом шаге дилетанты предъявляют допросные пункты, труднейшие вопросы науки хотят вперед узнать, чтоб иметь залог, что такое дух, абсолютное... да так, чтоб определение было коротко и ясно, т. е. дайте содержание всей науки в нескольких сентенциях, – это была бы легкая наука! Что сказали бы о том человеке, который, собираясь заняться математикой, потребовал бы вперед ясного изложения дифференцирования и интегрирования, и притом на его собственном языке? В специальных науках редко услышите такие вопросы: страх показаться невеждой держит в узде. В философии дело другое: тут никто не женируется! Предметы все знакомые – ум, разум, идея и проч. У всякого есть палата ума, разума и *не одна*, а *много* идей. Я еще здесь предположил темную наслышку о результатах философии, хотя и нельзя угадать, что именно допрашивающие разумеют под абсолютным, духом и проч.; но более отважные дилетанты идут дальше; они делают вопросы, на которые решительно нечего сказать, потому что вопрос заключает в себе нелепость. Для того, чтоб сделать дельный вопрос, надобно непременно быть сколько-нибудь знакомому с предметом, надобно обладать своего рода предугадывающею проницательностью. Между тем, когда наука молчит из снисхождения или старается, вместо ответа, показать невозможность требования, ее обвиняют в несостоятельности и в употреблении уловок.

Приведу, для примера, один вопрос, разным образом, но чрезвычайно часто предлагаемый дилетантами: «Как безвидное, внутреннее превратилось в видимое, внешнее, и что оно было прежде существования внешнего?» Наука потому не обязана на это отвечать, что она и не говорила, что два момента, существующие как внутреннее и внешнее, можно разьять так, чтоб один момент имел действительность без другого. В абстракции, разумеется, мы можем отделить причину от действия, силу от проявления, субстанцию от наружного. Но им не того хочется: им хочется *освободить* сущность, внутреннее, так, чтоб можно было посмотреть на него; они хотят какого-то предметного существования его, забывая, что предметное существование внутреннего есть именно внешнее; внутреннее, не имеющее внешнего, просто – безразличное ничто.

Nichts ist drinnen, nichts ist draußen;  
Denn was innen, das ist außen<sup>6</sup>.

(Goethe)

Словом, внешнее есть обнаруженное внутреннее, и внутреннее потому внутреннее, что имеет свое внешнее. Внутреннее без внешнего – какая-то дурная возможность, потому что нет ему проявления; внешнее без внутреннего – бессмысленная форма, не имеющая содержания. Таким объяснением дилетанты недовольны: у них кроется мысль, что во внутреннем спрятана тайна, которая разуму непостижима, а между тем вся сущность его в том только и состоит, чтоб *обнаружиться*, – и для чего, для кого была бы эта *тайная тайна*? Бесконечное, безначальное отношение двух моментов, друг друга определяющих, друг в друга *утягивающих*, так сказать, составляют жизнь истины; в этих вечных переливах, в этом вечном движении, в которое увлечено все сущее, живет истина: это ее вдыхание и выдыхание,

<sup>6</sup> Ничто не внутри, ничто не вовне, ибо то, что внутри, есть и вовне. (нем.).

ее систола и диастола. Но истина жива, как все органически живое, только как целостность; при разъятии на части душа ее отлетает и остаются мертвые абстракции с запахом трупа. Но живое движение, это всемерное диалектическое биение пульса, находит чрезвычайное сопротивление со стороны дилетантов. Они не могут допустить, чтоб *порядочная* истина, не сделавшись нелепостью, могла перейти в противоположное. Разумеется, что вне науки нельзя передать ясно и отчетливо необходимость вечного, неуловимого перехода внутреннего во внешнее, так что наружное есть внутреннее, а внутреннее – наружное. Но причина, почему именно такие выводы философии возмущают, очевидна. Рассудочные теории приучили людей до такой степени к анатомическому способу, что только неподвижное, мертвое, т. е. не истинное, они считают за истину, заставляют мысль оледениться, застыть в каком-нибудь одностороннем определении, полагая, что в этом омертвелом состоянии легче разобрать ее. Встарь учились физиологии в анатомическом театре: оттого наука о жизни так далеко отстоит от науки о трупе. Как только взят один момент, – невидимая сила влечет в противоположный; это первое жизненное сотрясение мысли: субстанция влечет к проявлению, бесконечное – к конечному; они так необходимы друг другу, как полюсы магнита. Но недоверчивые и осторожные пыталели хотят разделить полюсы: без полюсов магнита нет; как только они вонзают скальпель, требуя *того или другого*, – делается разъятие нераздельного, и остаются две мертвые абстракции, кровь застывает, движение остановлено. Да пусть бы знали, что то или другое отдельно – абстракции, так, как математик, отвлекая линию от площади и площадь от тела, знает, что реально одно тело, а линия и площадь – абстракции<sup>7</sup>. Нет, эти люди, не понимающие объективности разума, отрицающие ее, именно тут требуют незаконной объективности, действительности своим отвлеченностям.

Здесь время напомнить третье условие понимания науки, о котором было сказано, – *живую душу*. Только живой душой понимаются живые истины; у нее нет ни пустого внутри формализма, на который она растягивает истину, как на прокрустовом ложе, ни твердых застылых мыслей, от которых отступить не может. Эти застылые мысли составляют массу аксиом и теорем, которая вперед идет, когда приступают к философии; с их помощью составляются готовые понятия, определения, бог весть на чем основанные, без всякой связи между собою. Начать знание надобно с того, чтоб забыть все эти сбивчивые, неверные понятия; они вводят в обман: известным полагается именно то, что неизвестно; надобно смерти и уничтожению предоставить мертвых, отказаться от всех неподвижных привидений. Живая душа имеет симпатию к живому, какое-то ясновидение облегчает ей путь, она трепещет, вступая в область родную ей, и скоро знакомится с нею. Конечно, наука не имеет таких торжественных пропилей, как религия. Путь достижения к науке идет, по-видимому, бесплодной степью; это отталкивает некоторых. Потери видны, приобретений нет; поднимаемся в какую-то изреженную среду, в какой-то мир бесплотных абстракций, важная торжественность кажется суровою холодностью; с каждым шагом уносишься более и более в это воздушное море – становится *страшно просторно*, тяжело дышать и безотрадно, берега отдаляются, исчезают, – с ними исчезают все образы, навеянные мечтами, с которыми сжилось сердце; ужас объемлет душу: *Lasciate ogni speranza voi ch'entrate!*<sup>8</sup> Где бросить якорь? Все разрезается, теряет твердость, улечивается. Но вскоре раздается громкий голос, говорящий, подобно Юлию Цезарю: «Чего боишься? ты *меня* везешь!» Этот Цезарь – бесконечный

<sup>7</sup> Вообще, математика, несмотря на то, что предмет ее, по превосходству, мертв и формален, отделилась от сухого *то или другое*. Что такое дифференциал? – Бесконечно малая величина; стало быть, или он имеет величину, и в таком случае это величина конечная, или не имеет никакой величины, в таком случае он нуль. Но Лейбниц и Ньютон постигли шире и приняли сосуществование бытия и небытия, начальное движение возникновения, перелив от ничего к чему-нибудь. Результаты теории бесконечно малых известны. Далее, математика не испугалась ни отрицательных величин, ни несоизмеримости, ни бесконечно великого, ни мнимых корней. А, разумеется, все это падает в прах перед узеньким рассудочным «то или другое».

<sup>8</sup> Оставьте всякую надежду вы, сюда входящие! (итал.).

дух, живущий в груди человека; в ту минуту, как отчаяние готово вступить в права свои, он встрепенулся; дух найдется в этом мире: это его родина, та, к которой он стремился и звуками, и статуями, и песнопениями, по которой страдал, это *Jenseits*<sup>9</sup>, к которому он рвался из тесной груди; еще шаг – и мир начинает возвращаться, но он не чужой уже: наука дает на него инвестиру. Поблекли мечты, основанные на раздраженной фантазии, чрез посредство которой дух прорывался к знанию; но зато действительность просветлела, взор проникает глубоко и видит, что нет тайны, которую хранили бы сфинксы и грифы, что внутренняя сущность готова раскрыться дерзающему. Но за мечты именно и держатся всего более дилетанты. Они не могут найти сил перенести с самоотвержением начала и дойти до той оборотной точки, с которой боль скептицизма и лишений заменяется предчувствием знания успокоенного. Они знают, что боготворимые мечты, все идеалы их как-то не истинны, чувствуют неловкость, несвязность и остаются при этой неловкости, *могут* остаться. Но человек, поднявшийся до современности, с живой душой не может удовлетвориться вне науки. Глубоко протрадав пустоту субъективных убеждений, постучавшись во все двери, чтоб утолить жгучую жажду возбужденного духа, и нигде не находя истинного ответа, измученный скептицизмом, обманутый жизнью, он идет нагой, бедный, одинокий и бросается в науку.

«Неужели он страдательно склонится под ярмо чужого авторитета?» Наука не требует ничего вперед, не дает никаких начал на веру, и какие начала у нее, которые вперед можно было бы передать? Ее начала – это конец ее, это последнее слово, итог всего движения, до них она достигает; самое развитие их есть неопровержимое доказательство. Если же под началом разумеешь первую страницу, то в ней истины науки потому не может быть, что она первая страница и все развитие еще впереди. Наука начинается с какого-нибудь общего места, а не с изложения своего *profession de foi*<sup>10</sup>. Она не говорит: «Допусти то и то, а я тебе дам истину, спрятанную у меня, ты можешь получить ее, рабски повинуйся»; в отношении к лицу она только направляет внутренний процесс развития, прививает индивидуальности совершённое родом, приобщает ее к современности; она сама есть процесс углубления в себя природы и развитие полного сознания космоса о себе; ею вселенная *приходит в себя* после борений материального бытия, жизни, погруженной в непосредственность. Ею фантастическое упоение *образного* ведения становится, по выражению Аристотеля, *трезвым знанием*. Но для того, чтоб достигнуть действительно до трезвости, надобен был труд 3000 лет. Сколько прожил скорбного, страдал, унывал, лил слез и крови дух человечества, пока отрешил мышление от всего временного и одностороннего и начал понимать себя сознательной сущностью мира! Величественную и огромную эпопею истории надобно было прожить человечеству, чтоб великий поэт, опередивший свою эпоху и предузнавший нашу, мог спросить:

Ist nicht der Kern der Natur  
Menschen im Herzen?<sup>11</sup>

О каком чужом авторитете говорят дилетанты, где возможность его в науке? Дело в том, что они науку принимают не за последовательное развитие разума и самопознания, а за разные опыты, выдуманные разными особами в разные времена, без связи и отношения между собою. Они не могут понять, что истина не зависит от личности трудящихся, что они только органы развивающейся истины; они не могут никак постигнуть ее высокое объективное достоинство; им все кажется, что это субъективные помыслы и капризы. Наука имеет

<sup>9</sup> потусторонний мир (нем.).

<sup>10</sup> Исповедания веры (франц.).

<sup>11</sup> Разве зерно природы – не в сердце человека? (нем.).

свою автономию и свой генезис; свободная, она не зависит от авторитетов; освобождающая, она не подчиняет авторитетам. Но в самом деле она имеет право требовать вперед настолько доверия и уважения, чтоб к ней не приступали с заготовленными скептическими и мистическими возражениями, потому что и они – добровольные принятия на веру. Где, по какому праву, на чем основываясь, заготавливают возражения на науку вне ее? Откуда эта твердая масса, отталкивающая свет? В душе, чистой от предрассудков, наука может опереться на свидетельство духа о своем достоинстве, о своей возможности развить в себе истину; от этого зависит смелость знать, святая дерзость сорвать завесу с Изида и вперить горящий взор на обнаженную истину, хотя бы то стоило жизни, лучших упований.

Но какая эта истина, которую нам обещают за покрывалом?.. В самом деле, *какая?* Те, которые желали ее пламенно, скорбели и лили слезы по ней, тайком заглянули и были поражены – кто страхом, кто негодованием. Бедная истина! Хорошо, что древние ваяли покрывало из мрамора: его нельзя было поднять; глаза людей недостаточно окрепли, чтоб вынести ее черты. Или *не той* истины хотели они? А сколько же истин? Люди добрые, рассудочные знают *много*, очень много истин, – но *одна* истина им недоступна; какой-то оптический обман представляет им истину в уродливом виде и притом каждому на свой лад. Если собрать обвинения, беспрерывно слышимые, когда речь идет о науке, т. е. о истине, раскрывающейся в правильном организме, то можно, употребляя известное средство астрономии для получения истинного места светила, наблюдаемого с разных точек, т. е. вычитая противоположные углы (теория параллаксов), вывести справедливое заключение. Одни говорят – атеизм, другие – пантеизм; одни говорят – трудность, ужасная трудность, другие – пустота, просто ничего нет. Материалисты улыбаются над мечтательным идеализмом науки; идеалисты находят в анализе науки хитро скрытый материализм. Пиетисты убеждены, что современная наука безрелигиознее Эразма, Вольтера и Гольбаха с компанией, и считают ее вреднее вольтерианизма. Люди нерелигиозные упрекают науку в ортодоксии. И, главное, все недовольны – требуют опять завесы. Кого поразил свет, кого простота, кому стыдно стало наготы истины, кому черты ее не понравились, потому что в них много земного. Все обманулись, – а обманулись оттого, что хотели не истины. Но дело сделано. Событие вспять не пойдет; однажды начав разоблачаться и показав нам торс поразительной прелести, истина не наденет снова покрывала из ложного стыда; она знает силу, славу и красоту наготы своей<sup>12</sup>.

*1842, апреля 25.*

<sup>12</sup> Следующая статья посвящена будет исключительно дилетантам-романтикам.

## Статья вторая Дилетанты-романтики<sup>13</sup>

Оставим мертвым погребать мертвых.

Есть вопросы, до которых никто более не касается, не потому, чтоб они были решены, а потому, что надоели; не сговариваясь, соглашаются их считать непонятыми, прошедшими, лишенными интереса и молчать об них. Но время от времени полезно заглядывать в эти архивы мнимо решенных дел: последовательно оглядываясь, мы смотрим на прошедшее всякий раз иначе; всякий раз разглядываем в нем новую сторону, всякий раз прибавляем к уразумению его весь опыт вновь пройденного пути. Полнее сознавая прошедшее, мы уясняем современное; глубже опускаясь в смысл былого – раскрываем смысл будущего; глядя назад – шагаем вперед; наконец, и для того полезно перетрясти ветошь, чтоб узнать, сколько ее истлело и сколько осталось на костях.

Одно из таких дел, которое, выражаясь судейским слогом, зачислено решенным впредь до востребования, – дело, недавно поступившее в архив, – тяжба романтизма и классицизма, так волновавшая умы и сердца в первую четверть нашего века (даже и ближе); тяжба этих восставших из гроба сошла с ними вместе второй раз в могилу, и нынче говорят всего менее о правах романтизма и его бое с классиками – хотя и остались в живых многие из закоснелых поклонников и непримиримых врагов его.

А давно ли этот бой, шумно начавшийся, блистал во всей красе? Много было талантов на арене; общественный голос участвовал живо, деятельно; нынче избитые имена «классик», «романтик» были многозначительны – и вдруг все замолкло; интерес, окружавший сражавшихся, исчез; зрители догадались, что и те и другие сражаются за мертвых; мертвецы вполне заслужили тризны и мавзолеи – они оставили нам богатые наследия, которые стяжали в кровавом поте, страданиях, тяжком труде, – но бороться за них бесцельно. Нет в мире неблагодарнее занятия, как сражаться за покойников: завоевывают трон, забывая, что некого посадить на него, потому что царь умер. Когда бойцы увидели, что они лишились участия, – их жар простыл. Одни упорные и ограниченные люди остались на поле битвы в полном вооружении, похожие на теперешних бонапартистов, отстаивающих права великой тени – но все же тени.

Борьба эта будто явилась с того света, чтоб присутствовать при вступлении в отрочество нового мира, передать ему владычество от имени двух предшествовавших, от имени отца и деда, и увидеть, что для мертвых нет больше владений в мире жизни. Фактическое явление романтизма и классицизма, в виде двух исключительных школ, было следствием странного состояния умов лет за тридцать тому назад. Когда народы успокоились после пятнадцати первых лет нашего века и жизнь потекла обычным руслом, тогда лишь увидели, сколько из существовавшего порядка вещей, не замененного новым, потеряно и сломано. В разгроме революции и императорства некогда было прийти в себя. Сердца и умы наполнились скукой и пустотой, раскаянием и отчаянием, обманутыми надеждами и разочарованием, жаждой веры и скептицизмом. Певец этой эпохи – Байрон, мрачный, скептический, поэт отрицанья и глубокого разрыва с современностью, падший ангел, как называл его Гёте. Франция, главный театр событий переворота, всего более страдала. Религия была в упадке, политические верования исчезли, все направления, самые противоположные, были оскорблены эклектизмом первых годов Реставрации. Спасаясь от тяжести настоящего, отыскивая

---

<sup>13</sup> Первая статья была о дилетантизме вообще; следующая будет посвящена специализму в науке, в четвертой (если она будет) поговорим о формализме. – Писавший просит редакцию позволить ему обратить внимание читателей на важную опечатку, вкрадшуюся в первую статью. На стран. 33, стр. 20-й снизу, напечатано вместо *гуманнейший* – туманнейший.

езде выхода, Франция впервые иными глазами взглянула на прошедшее. Воспоминание человечества – своего рода небесное чистилище – было воскрешено в нем просветленным духом, от которого отпало все темное, дурное. Когда Франция увидела великую тень преобразованных средних веков с их увлекательным характером единства верования, рыцарской доблести и удали и увидела очищенную от дерзкого своеволия и наглой несправедливости, от всесторонних противоречий, кое-как формально примиренных, тогдашней жизни, она, пренебрегавшая дотоле всем феодальным, предалась неоромантизму. Шатобриан, романы Вальтера Скотта, знакомство с Германией и с Англией – способствовали к распространению готического воззрения на искусство и жизнь. Франция увлеклась готизмом, так, как увлеклась античным миром, по чрезвычайной восприимчивости и живости, не опускаясь во всю глубину. Однако не все покорилось романтизму: умы положительные, умы, сосавшие все соки свои из великих произведений Греции и Рима, прямые наследники литературы Лудовика XIV, Вольтера и Энциклопедии, участники революции и императорских войн, односторонние и упрямые в своих началах, с презрением смотрели на юное поколение, отрицающее их в пользу понятий, ими казненных, как полагали, навеки. Романтизм, бродивший в умах юного поколения Франции, братски встретился с зарейнским романтизмом, разразившимся тогда же до высшего предела. В характере германском было всегда что-то мистическое, натянуто-восторженное, склонное к спекуляции и не менее склонное к каббалистике, – это лучшая почва для романтизма, и он не замедлил явиться в полнейшем развитии в Германии. Реформация, освободив преждевременно и односторонно умы германские, двинула их в поэтико-схоластическом, в рассудочно-мистическом направлении. Отклонение важное от истинного пути. Лейбниц в свое время заметил, что Германии трудно будет отделаться от этого направления, которое, прибавим мы, оставило следы в творениях самого Лейбница. Эпоха неестественного классицизма и галломании, на время прикрывшая национальные элементы, не могла произвести важного влияния: эта литература не имела отголоска в народе. Бог знает для кого она говорила и чью мысль высказывала. Более истинное, несравненно глубочайшее влияние произвела литературная эпоха, начавшаяся с Лессинга; космополитическая и совершеннолетняя, она старалась развить национальные элементы в общечеловеческие; это была великая задача и Гердера, и Канта, и Шиллера, и Гёте. Но задача эта разрешалась на поле искусства и науки, отделяя китайскою стеною общественную и семейную жизнь от интеллектуальной. Внутри Германии была другая Германия – мир ученых и художников, – они не имели никакого истинного отношения между собою. Народ не понимал своих учителей. Он по большей части остался на том месте, на котором сел отдыхать после Тридцатилетней войны. История Германии от Вестфальского мира до Наполеона имеет одну страницу, именно ту, на которой писаны деяния Фридриха II. Наконец, Наполеон, тяжело ударяя, добился практических сторон духа германского, забытого ее образователями, и тогда только бродившие внутри и усыпленные страсти подняли голову и раздались какие-то страшные голоса, полные фанатизма и мрачной любви к отечеству. Феодальное воззрение средних веков, приложенное несколько к нашим нравам и одетое в рыцарски-театральные костюмы, овладело умами. Мистицизм снова вошел в моду; дикий огонь преследования блеснул в глазах мирных германцев, и фактически реформационный мир возвратился в идею к католическому мирозерцанию. Величайший романтик, Шлегель, потому что он лютеранин, перекрестился в католицизм, – тут видна логика.

Ватерлоо решило на первый случай, кому владеть полем: Наполеону-классику или романтикам – Веллингтону и Блюхеру. В лице Наполеона, императора французов и корсиканца, представителя классической цивилизации и романской Европы, германцы снова победили Рим и снова провозгласили торжество готических идей. Романтизм торжествовал; классицизм был гоним: с классицизмом сопрягались воспоминания, которые хотели забыть, а романтизм выкопал забытое, которое хотели вспомнить. Романтизм говорил беспрестанно,

классицизм молчал; романтизм сражался со всем на свете, как Дон-Кихот, – классицизм сидел с спокойною важностью римского сенатора. Но он не был мертв, как те римские сенаторы, которых галлы приняли за мертвецов: в его рядах были недюжинные люди – все эти Бенгамы, Ливингстоны, Тенары, де-Кандоли, Берцелии, Лапласы, Сэи не были похожи на побежденных, и веселые песни Беранже раздавались в стану классиков. Осыпаемые проклятиями романтиков, они молча отвечали громко – то пароходами, то железными дорогами, то целыми отраслями науки, вновь разработанными, как геогнозия, политическая экономия, сравнительная анатомия, то рядом машин, которыми они отрешали человека от тяжелых работ. Романтики смотрели с пренебрежением на эти труды, унижали всеми средствами всякое практическое занятие, находили печать проклятия в материальном направлении века и проглядели, смотря с своей колокольни, всю поэзию индустриальной деятельности, так грандиозно развертывавшейся, например, в Северной Америке.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.